

МЫСЛИТЕЛИ И ФИЛОСОФЫ



**ФЕДОР  
ДОСТОЕВСКИЙ**

**СИЛА И ПРАВДА  
РОССИИ  
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ**

РИПОЛ КЛАССИК

Мыслители и философы (Рипол)

Федор Достоевский

**Сила и правда России.  
Дневник писателя**

«РИПОЛ Классик»

1873-1881

УДК 14  
ББК 87

**Достоевский Ф. М.**

Сила и правда России. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский —  
«РИПОЛ Классик», 1873-1881 — (Мыслители и философы  
(Рипол))

ISBN 978-5-386-13909-4

В сборнике представлены художественные и публицистические произведения, входившие в «Дневник писателя», который Ф. М. Достоевский вел с 1873 по 1881 годы. Первоначально «Дневник писателя» появлялся в еженедельном журнале «Гражданин», позже печатался отдельными выпусками. Он включает и статьи, содержащие размышления об исторических судьбах России и славянства, и повести, заставляющие каждого из нас задуматься о вечных вопросах бытия. Это издание — настоящий подарок для любителей творчества Ф. М. Достоевского и для тех, кто интересуется философией и различными точками зрения о судьбах России. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 14  
ББК 87

ISBN 978-5-386-13909-4

© Достоевский Ф. М., 1873-1881  
© РИПОЛ Классик, 1873-1881

## Содержание

Дневник писателя. 1873	6
Вступление	6
Старые люди	9
Среда	12
Нечто личное	20
Влас	26
Бобок	34
«Смятенный вид»	44
Полписьма «одного лица»	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# **Федор Михайлович Достоевский**

## **Сила и правда России**

© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

## Дневник писателя. 1873

### Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: всё оно было предусмотрено и определено ещё за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там всё так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моём назначении в редакторы, произнёс бы нам внушительным, но ласковым голосом определённое церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если бы я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если бы даже и был; напротив того, несравненно благонадёжнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка», сам же, напротив, стал отлично писать статьи, – так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там всё предусмотрено и всё рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и – к удивлению – понятно; да и то если принадлежат известному перу. В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими – наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощённых и чисто научных приёмов. Прежде, напри-



мер, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве», – и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощённый приём ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то ещё дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придём к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чём не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере ещё тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Ещё горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но ещё горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остаётся лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это всё равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» ещё долго придётся говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение моё в высшей степени неопределённое. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. О чём говорить? Обо всём, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось всё стадо, подумали и решили так:

– Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришёл, понюхал, поморщился и пошёл прочь. Долго ещё потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, – не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу ещё притказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение – «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнёсся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его

за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

– И мне особенно нравится, – заметил я между прочим, – что Ваш оппонент тоже очень умён. Согласитесь, что он Вас во многих случаях ставит к стене.

– Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я Вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

– Ну что, как ты думаешь?

– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умён, но только охота тебе была с таким дураком своё время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

– Зарезал! Зарезал!



## Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь моё первое вступление на литературное поприще, Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde* прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора-два десятилетия предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрёкся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нём развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был – писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, своё воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя представляет таким признанием, – всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошёл, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землёй и с её идеалами. Белинский, напротив, – Белинский был вовсе не *gentilhomme*; – о, нет. (Он Бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись – от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем,

он тотчас же бросился с самую простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутьё его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо со знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужитья человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу её; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает её в неслыханном величии, но на новых и уже алмазовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осуждённым современною наукой и экономическими началами; но всё-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своём Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Jésus*», что Христос всё-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

– Да знаете ли Вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли Вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный Вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что Ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

– Ну не-е-т! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате.) – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошёл за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда ещё только начинавший свою деятельность. Этих четырёх, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался.

Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, – Фейербах. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе говорилось с благоговением.

При такой тёплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею тёплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гегг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сомнений, не от разочарований; о, нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой.

– Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда ещё строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорожкою:

– А вот как зароят в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял всё учение его. Ещё год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жёны декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чём не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осуждённые мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал её иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чём говорил Белинский и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

## Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благо-роднейших ощущений, – всё-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалкивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу – в самоё Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберёшь, – но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорблённых, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобльменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не наклонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да ещё после такой вековой приниженности и забитости, – не наклонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишённая некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», – разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нём, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведённое до высокой степени, до твёрдого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твёрдого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займёт своё место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Ещё недавно общий гул пошёл у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестаёт быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя

до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения её христианской нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя своё сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством и что нравственные основы страны всё те же крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

– Даже хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, – хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяты граждане-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да ещё какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

– Конечно, есть правда в вашем замечании, – отвечаю я голосу, несколько повеся нос, – но ведь опять-таки русский народ...

– Русский народ? Позвольте, – слышится мне другой голос, – вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что не надо или рано было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознаёт, что он недостоин даров таких, – и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своём, народ смущён. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволите вы насмеяться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастём до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем ещё хуже, чем он, – мы и милуем». Так ведь это ещё, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего ещё и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», – рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном перед властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя всё-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая её более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор её), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз ещё хуже преступника, то тем самым признаёмся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

– Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Вой дём в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта

боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно её исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придём к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всём «среда виновата». Дойдём до того, по клубку, что преступление сочтём даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признаёт и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

– Ну, вы, однако же, – слышится мне чей-то язвительный голос, – вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскормиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, – задумываюсь я, – но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

– Вот на! – хохочет язвительный голос.

– А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет ещё громче, но как-то выделанно.

\* \* \*

Нет, тут с народом пока ещё только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осуждённых «несчастными», подаёт им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем

непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких скрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе её не замечалось. На Западе провозглашают её теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил её ещё задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно – может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтёт себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнётся от такого ложного толкования народ и назовёт его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовёт его народ «несчастливым»?

Может, и назовёт; без сомнения, назовёт; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю ещё два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решёных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было



вслух говорить. Случалось, что раздавалось чьё-нибудь слово с вызовом и вывертом, и – «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но всё-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нём соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущённого... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде – как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даёте им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» – вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнёте его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Ещё недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там всё, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-Богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознаётся сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадёт деньги. «Влюблён, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и – почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твёрдая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнёте вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за моё малодушие; меня ободряло, что всё-таки я издали могу ошибаться, что всё-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» – ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потёмков выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно мрак, в котором живёт какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит её долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идёт она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают её, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите

перед ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого ещё не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Её читали во всех газетах и, может быть, ещё помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго ещё мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я всё воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы ещё – с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как драгоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймаёт курицу и повесит её за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – верёвками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие её ноги, а половицу притиснет и бьёт, и бьёт. Я думаю, он и сам не знал, за что её бьёт, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, её подзовёт и скажет: «Не смей трогать хлеба, это мой хлеб», – чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребёнком у соседей: дадут хлеба – поедят, не дадут – сидят голодом. Работу с неё спрашивал; всё она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и её наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы ещё характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостаёт. Видали ли вы, как мужик сечёт жену? Я видал. Он начинает верёвкой или ремнём. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить её. Связав жену или забив её ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»? Я ведь не говорю, что была, – и было бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает её в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются всё чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестаёт кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трёх последних ужасных ударов на её спине, – баста! Отходит, садится за стол, въздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнётся, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идёт доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать её за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдёт, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмёт ремень и начнёт, и начнёт висячую... А девочка всё дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Её видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела её и несколько раз в утро подходила из угла на неё смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всём: «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но достоин снисхождения».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала всё и исторгла, говорят, слёзы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но со «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребёнка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу ещё анекдот.

Когда-то, ещё до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребёнка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребёнок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздражающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребёночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймёшь, коли прибьёшь: он зальётся своими слёзками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнёт целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребёнка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

– Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки – согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжёт против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

– Да подите! – восклицает вдруг давешний язвительный голос. – Ведь всё это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это мой хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» – это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь почти то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», – настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь всё-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

## Нечто личное

Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайною отчётливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.

Раз весной поутру я зашёл к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов. Один из этих журналов приобрёл впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование своё; но тогда, в то утро, его издатель ещё не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда ещё он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моём из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно тёплое слово и по одному поводу указал на одни стихи – лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да ещё из «страдающих». А между тем он один из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.

– Ну, вот мы Вас обругали, – сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).

– Знаю, – сказал я.

– А знаете почему?

– По принципу, должно быть.

– За Чернышевского.

Я остолбенел от удивления.

– NN, который написал критическую статью, – продолжал издатель, – сказал мне так: «Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю».

– Так это все та же глупая сплетня о «Крокодиле»? – вскричал я, сообразив. – Да неужто и Вы верите? Читали Вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?

– Нет, не читал.

– Да ведь всё это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутьё Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитать между строк такую «гражданскую» аллегорию, да ещё на Чернышевского! Если бы Вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прощу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что её выпустили!

Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор ещё не протестовал против «клеветы» – то пренебрегал, то «не было времени». Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всём этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал её.

С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моём из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвёл на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.

Однажды утром я нашёл у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Всё это было тогда ещё внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда ещё трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжёлое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностью явление, которое будет иметь свою серьёзную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, ещё далеко не дописана.

И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, – мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то, что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, – эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привёл к себе в кабинет.

– Николай Гаврилович, что это такое? – вынул я прокламацию.

Он взял её как совсем незнакомую ему вещь и прочёл. Было всего строк десять.

– Ну, что же? – спросил он с легкой улыбкой.

– Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

– Неужели Вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

– Именно не предполагал, – отвечал я, – и даже считаю ненужным Вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся Вашего мнения.

– Я никого из них не знаю.

– Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить Ваше порицание, и это дойдёт до них.

– Может, и не произведёт действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

– И однако, всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было моё посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жёстком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него ещё раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошёл арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.

Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда ещё не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хотя и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник перед поездкой за границу отправляется со своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот – среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, ещё молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалёв, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своём департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит всё потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг её как-то раздражил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нём сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещённых, либеральных тенденций. Супруга между тем стала находить, что положение её «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг её между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники – смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду



и учить; государственному мужу подам совет, перед министром выкажу способности», – говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга: «А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает», – великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» – говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей всё более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник её мужа и играет с ней в свои козыри... Вот первая часть этого шутовского рассказа – он недокончен. Когда-нибудь непременно dokonчу, хоть я уже и забыл о нём и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить.

Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор „Крокодила“ вступает на такой путь; это не принесёт ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочёл мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей всё равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С<трахов> сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что Ваш „Крокодил“ – аллегория, история ссылки Чернышевского, и что Вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился; мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почёл совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилося и возымело ход. *Calomniez, il en restera toujours quelque chose.*

Я, впрочем, убеждён и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, – да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевавшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убеждён, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убеждён даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда её в свою пользу даже и теперь. Но ведь на то она и многодумная голова. (Я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю; в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне.)

В чём же аллегория? Ну конечно крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник – Чернышевского. Он попал в крокодила и всё ещё питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это всё здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это... Но тут уже так грязно, что я не хочу мारаться и продолжать разъяснение аллегории. (А между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намёк и укрепился; я имею несомненные доказательства.)

Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастливого»; мало того – написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите... «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета – что хотите, – и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актёра Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали

рукописи и транспаранты: не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалося чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквильанта и что от меня можно ожидать таких аллегорий.

Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушие догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.

Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут – этого мало и что я питал затаённую ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убеждён, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтёт его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастьи.

Но ненависть из-за убеждений, быть может?

Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним во мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?». Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдаётся всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно о романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьёзность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.

Может быть, я, печатая ядовитую аллессию, надеялся выиграть где-нибудь *en haut lieu*? Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь *lieu*, то есть продавал своё перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на всё своё простодушие. Да и не укрепились бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.

Что же касается до возможности обвинения в пашквильной аллессии насчёт иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться...

Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моём «Крокодиле».

На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне:

– Я только что прочёл статью Вашу о «Среде» и о приговорах наших присяжных («Гражданин», № 2). Я с Вами совершенно согласен, но статья Ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что Вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки...

Я был горестно изумлён. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и «аллегорий».

– Неужели так можно истолковать мою статью! После этого ни о чём нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига – ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешёвка, жида-кабатчики, воровство и дневной разбой – всё это несомненные факты, и всё растёт, растёт. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмёт перо и напишет, – что же неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?

– Во всяком случае, надо желать, чтобы народ имел полную свободу сам выйти из грустного своего положения, безо всякой опеки и поворотов назад.

– Да непременно же так, и это именно моя мысль! И если бы даже от упадка народного (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят теперь по местам: «Ослабели, ослабели!»), – если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастье народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда – то и тут народ спасёт себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чём свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно – довольно вмешательств!.. Но как, однако же, могут быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй, и ещё натолкнёшься на аллегория!

## Влас

Помните ли вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,  
С обнажённой головой,  
Медленно проходит городом  
Дядя Влас – старик седой.  
На груди икона медная:  
Просит он на Божий храм...

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»;

...побоями  
В гроб жену свою вогнал,  
Промышляющих разбоями,  
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов, – пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,  
Видел грешников в аду:  
Мучат бесы их проворные,  
Жалит ведьма-егоза,  
Ефиопы – видом чёрные,  
И как углие глаза.  
Те на длинный шест нанизаны,  
Те горячий лижут пол...

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», – продолжает поэт.

Богомолки, бабы умные,  
Могут лучше рассказать.

О поэт! – к несчастью, истинный поэт наш, – если бы Вы не подходили к народу с Вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умные,  
Могут лучше рассказать, —

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих пустяков вырастают храмы Божии

По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьёзность его страдания Вы всё-таки поняли; всё же Вас пора зила величаявая фигура его. (Да ведь и поэт же Вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая  
В дело Божие ушла, —

великолепно говорите Вы.

Хочу, впрочем, верить, что Вы вставили Вашу насмешку невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения Власова, эта потребность самосохранения, эта страстная жажда страдания поразила и Вас, общечеловека и русского *gentilhomme*'а, и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из Вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас своё имение,  
Сам остался бос и гол  
И собирать на построение  
Храма Божьего пошёл.  
С той поры мужик скитается  
Вот уж скоро тридцать лет,  
Подаянием питается —  
Строго держит свой обет.  
Полон скорбью неутешною,  
Смуглолиц, высок и прям,

(Чудо как хорошо!)

Ходит он стопой неспешною  
По селеньям, городам.  
Ходит с образом и с книгою,  
Сам с собой всё говорит  
И железною веригою  
Тихо на ходу звенит.

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не Вы писали; точно это не Вы, а другой кто вместо Вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни. А впрочем, не кривлялись Вы и «на Волге», разве только немножко: Вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нём, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека – значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж извините меня) стихотворении Вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи – исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их – про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живём в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нём зиждется

рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живёт этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленной отчаянием душою, которая уже и не ждёт себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нём своему священнику-духовнику, – не от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение своё. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдёт к нему.

«И вот, – говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, – выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаёнными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я ещё из окна видел, как он полз по земле.

Первым словом ко мне:

– Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал – всё одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

– Собрались мы в деревне несколько парней, – начал он говорить, – и стали промежду себя спорить: „Кто кого дерзостнее сделает?“ Я по гордости вызвался перед всеми.

Другой парень отвёл меня и говорит мне с глазу на глаз:

– Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

– Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что всё сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

– Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдёшь к причастью – причастье прими, но не проглоти. Отойдёшь – вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повёл меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

– Теперь, говорит, принеси ружьё.

Я принёс.

– Заряди.

Зарядил.

– Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нём Распятый. Тут я и упал с ружьём в бесчувствии».

Происходило это ещё за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя – старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трёх минут особенного разбора. Я всё того мнения, что ведь последнее слово скажут они же вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петер-

бург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, новая черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

\* \* \*

Во-первых, мне именно удивительно – удивительно всего более – самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да ещё самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбуждённого, но всё же совершенно здорового человека, – может быть, случай ещё неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нём мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всём (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в неё как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей её полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдаётся почти беззаветно, готов порвать всё, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жадью самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдёт до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьёзнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения, то есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление своё русский человек уходит с самым огромным и серьёзным усилием, а на отрицательное прежнее движение своё смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всём. Этою жадью страдания он, кажется, заражён искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьёт ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умилённый до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе,



то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы – народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поёт самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовёт «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовёт «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убеждён, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, всё-таки слышит каким-то чутьём, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодай, и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает погрёк, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до края, борясь с накапливающимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже большее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто сделает дерзостнее?» – и какими причинами сложилась возможность подобного состязания – осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали – один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаённая ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

– Не побоюсь ничего, сделаю всё, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

– Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода – разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на всё пойдёт, и искустель его знал, что на этот раз серьёзно говорено, впрямь пойдёт.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искустелю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в её выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала её ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он всё давно уже, и ружьё и огород, и держал только в страшной тайне – в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проницало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но – «был же и я на таком верху!...».

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом всё ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кающемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит Его в своём сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о Нём существует вполне. Оно передаётся из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народной, разорвать тем со всею землёй, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью – ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, всё это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдаётся, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своём. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличённый на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал её с умилением, заплакал и, не вставая с колен, ещё раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было ещё нечто совсем особенное – мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом ещё могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей.

Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но ещё продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести её к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жёсткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепenea от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и её мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненной злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью

и заглянуть в неё, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, – начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте ещё, что искушитель не открыл своей жертве всей тайны: она ещё не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать со святыней, до самого того момента, как он велел принести ружьё. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружьё и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, – и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось всё время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, всё нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени поражённые ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружьё внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил всё до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!», в двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если бы ей её подарили, а всё-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружьё бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент – вся ложь, вся низость поступка, всё малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения – всё это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему... всё кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошёл по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искушитель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нём ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живёт себе до сих пор, опять пьёт и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему ещё желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, неверующий, с высокомерною насмешкой выбравший

предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за её трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, – чёрт знает, может быть, из учёного наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время всё возможно предположить), да ещё в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, – если только в ней есть интерес, – лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьёзные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутёж» ещё хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с невероятною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся за дело Божие. Во всяком случае спасёт себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасёт, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намёки на эту неожиданность, наклёвываются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае, наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова» в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралём и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

## Бобок

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

### ЗАПИСКИ ОДНОГО ЛИЦА

Семён Ардальонович третьего дня мне как раз:

– Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Всё-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут...

Скажи, по крайней мере, косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства вместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть – не напечатали. Написал фельетон – отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у Вас нет».

– Какой же тебе соли, – спрашиваю с насмешкою, – аттической?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красенький, дескать, чай, с собственных плантаций». За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот таких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, – живые! Это они реализмом зовут.

А насчёт помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть...» Это ещё довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг ещё умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то ещё никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовёт, – способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрёшь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошёл, значит, теперь мы умные». Нет, ещё не значит.

Впрочем, чёрт... и что я со своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленный. Рубишь, рубишь – и вводное предложение, потом к вводному ещё вводное, потом в скобках ещё что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

\* \* \*

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдётся! Покойник добывал, ну а теперь – пенсионишка. Подождут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошёл бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот ещё местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной весёлости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки – ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зелёная и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил весёлости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим, или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

– Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать, – сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И Боже, подумал я, что бы с тобой было, если бы ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилёг на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнёсся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу – звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всём том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

– Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у Вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчёт бубён-с.

– Что же значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

– Нельзя, Ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна тёмная сдача.

– Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко улащённый; не поверил бы, если бы не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочёл надпись на памятнике:

«Здесь покоится тело генерал-майора Перводова... таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Гм, чёрт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шёл льстивый голос, ещё не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

– Ох-хо-хо-хо! – послышался совсем уже новый голос, сажень в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, – голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умилённый манер.

– Ох-хо-хо-хо!

– Ах, опять он икает! – раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздражённой дамы, как бы высшего света. – Наказание мне подле этого лавочника!

– Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это моё естество. И всё-то Вы, барыня, от Ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

– Так зачем Вы сюда легли?

– Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлёг. Смерти таинство! И не лёг бы я подле Вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

– Накопил; людей обсчитывал?

– Чем Вас обсчитаеть-то, коли с января почитай никакой Вашей уплаты к нам не было. Счётец на Вас в лавке имеется.

– Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

– Да уж где теперь спрашивать и куда пойдёшь. Оба достигли предела и перед судом Божиим во гресех равны.



– Во гресех! – презрительно передразнила покойница. – И не смейте совсем со мной говорить!

– Ох-хо-хо-хо!

– Однако лавочник-то барыни слушается, Ваше превосходительство.

– Почему же бы ему не слушаться?

– Ну да известно, Ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

– Какой же это новый порядок?

– Да ведь мы, так сказать, умерли, Ваше превосходительство.

– Ах, да! Ну всё же порядок...

Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

\* \* \*

– Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... Я бы пожил! – раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

– Слышите, Ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

– И с легкомыслием.

– Пронимает его, Ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

– Скучновато, однако, – заметил его превосходительство.

– Скучновато, Ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

– Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

– А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, – брезгливо откликнулась крикса. – Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про Вас, Ваше превосходительство, – не чваньтесь, пожалуйста, – одну историйку знаю, как Вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щёткой вымел.

– Скверная женщина! – сквозь зубы проворчал генерал.

– Матушка, Авдотья Игнатьевна, – возопил вдруг опять лавочник, – барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

– Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

– Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому ещё в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот Вы, барынька, так уж тронулись, – потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

– Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

– Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слёзные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

– Ну, вот об чём плачет: нажрут кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

– Авдотья Игнатьевна, – заговорил лстивый чиновник. – Подождите капельку, новенькие заговорят.

– А молодые люди есть между ними?

– И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

– Ах, как бы к стати!

– А что, не начинали ещё? – осведомился его превосходительство.

– Даже и третьеводнишние ещё не очнулись, Ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажён на десять почти все у нас прошлогодние.

– Да, интересно.

– Вот, Ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

– Гм, где же он тут?

– Да шагах в пяти от Вас, Ваше превосходительство, влево. Почти в самых Ваших ногах-с... Вот бы Вам, Ваше превосходительство, познакомиться.

– Гм, нет уж... мне что же первому.

– Да он сам начнёт, Ваше превосходительство. Он будет даже польщён, поручите мне, Ваше превосходительство, и я...

– Ах, ах... ах, что же это со мной? – закричал вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

– Новенький, Ваше превосходительство, новенький, слава Богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

– Ах, кажется, молодой человек! – взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

– Я... я... Я от осложнения, и так внезапно! – залепетал опять юноша. – Мне Шульц ещё накануне: у Вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

– Ну, нечего делать, молодой человек, – милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, – надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к Вашим услугам.

– Ах, нет! нет, нет, это я никак! я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп... и вот вдруг совсем неожиданно... главное, совсем неожиданно.

– Вы говорите, сначала грудь, – мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

– Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу... и, знаете...

– Знаю, знаю. Но если грудь, Вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

– А я, знаете, всё собирался к Боткину... и вдруг...

– Ну, Боткин кусается, – заметил генерал.

– Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и всё предскажет вперёд.

– Его превосходительство заметил насчёт цены, – поправил чиновник.

– Ах, что Вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт... и я непременно хотел, потому что мне говорили... Что же господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

– Что? Куда? – приятно хохоча, заколыхался труп генерала.

Чиновник вторил ему фистулой.

– Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если бы такого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать ещё и не спешить заключениями. Этот соплик новичок – я его давеча в гробу помню – выражение перепуганного цыплёнка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

\* \* \*

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве – дел и о вероятном, сопряжён-

ном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлёк генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго ещё бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо лстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены ещё третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но всё хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

– Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! – возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

– А? что? – брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сём Тарасевиче – соблазнительное и тревожное в высшей степени.

– Это я-с, Ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

– Чего просите и что Вам угодно?

– Единственно осведомиться о здоровье Вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с Вашим превосходительством и надеются...

– Не слышал.

– Помилуйте, Ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

– Вы генерал Первоедов?

– Нет-с, Ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к Вашим услугам, а генерал Первоедов...

– Вздор! И прошу Вас оставить меня в покое.

– Оставьте, – с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

– Не проснулись ещё, Ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с.

– Оставьте, – повторил генерал.

\* \* \*

– Василий Васильевич! Эй Вы, Ваше превосходительство! – вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос – голос барский и дерзкий, с утомлённым по моде выговором и с нахальной его скандировкою, – я Вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; Вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волонских встречались, куда Вас, не знаю почему, тоже пускали.

– Как, граф Петр Петрович... да неужели же Вы... и в таких молодых годах... Как сожалею!

– Да я и сам сожалею, но только мне всё равно, и я хочу отовсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провёл, да на него и донёс, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я

уже совсем был помолвлен – Шевалевская, трёх месяцев до шестнадцати недоставало, ещё в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как Вы меня, лет пятнадцать назад, когда я ещё был четырнадцатилетним пажом, развратили?..

– Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя Бог послал, а то здесь...

– Вы напрасно Вашего соседа негодянта заподозрили в дурном запахе... Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

– Ах, какой мерзкий! Только я всё-таки рада; Вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

– Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, – я не Вас, Первоедов, – Ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который Вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

– Я Вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте...

– Ни на грош не верю, и наплевать. Я Вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава Богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казённого недочёту оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело ещё столько сил на разврат, и – и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты – да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налёг по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите?

– Cher Клиневич, я совершенно с Вами согласен, и напрасно Вы... пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия... Я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё...

– Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

– Какую?... Какую Катишь? – плотоядно задрожал голос старца.

– А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от Вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если бы Вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там её никому не показывал, один я и знал... Катишь, откликнись!

– Хи-хи-хи! – откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нём послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-хи!

– И блон-ди-ночка? – обрывисто в три звука пролепетал grand-père.

– Хи-хи-хи!

– Мне... мне давно уже, – залепетал, задыхаясь, старец, – нравилась мечта о блондинке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

– Ах, чудовище! – воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Довольно! – порешил Клиневич, – я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, Вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что Вас так звали!

– Лебезятников, надворный советник, Семён Евсич, к Вашим услугам и очень-очень-очень рад.

– Наплевать, что Вы рады, а только Вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, во-первых (я ещё со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

– Это, если бы Вы пожелали, барон, мог бы Вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

– Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

– Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по несколько слов, не идущих к делу.

– К делу, к делу!..

– Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда ещё мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь ещё раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею Вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается ещё месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё ещё вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», – но и в нём, значит, жизнь всё ещё теплится незаметною искрой...

– Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

– Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная – хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...

– Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся.

С особенною готовностью прогремел басом своё согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться...

– Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я всё-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

– Я понимаю, Клиневич, – пробасил инженер, – что Вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

– Ну, это мне наплевать! На этот счёт подождём Кудеярова, вчера принесли. Проснётся и Вам всё объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат ещё одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, чёрт с ними, но только нас соберётся своя кучка и у нас всё само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми верёвками. Долой верёвки, и проживём эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса.

– Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! – взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

– Ах... ах... Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку! – Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

– Хи-хи-хи! – хихикала Катишь.

– Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня всё-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

– Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнёт первая свою биографию.

– Протестую! протестую изо всех сил, – с твёрдостью произнёс генерал Первоедов.

– Ваше превосходительство! – в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников. – Ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... и, наконец, все эти разные штучки...

– Положим, девочка, но...

– Выгоднее, Ваше превосходительство, ей-Богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем...

– Даже и в могиле не дадут успокоиться!

– Во-первых, генерал, Вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на Вас на-пле-вать, – проскандировал Клиневич.

– Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

– Что? Да ведь Вы меня не достанете, а я Вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

– Нет, не пшик... Я и здесь...

– Здесь Вы сгниёте в гробу, и от Вас останется шесть медных пуговиц.

– Браво, Клиневич, ха-ха-ха! – заревели голоса.

– Я служил государю моему... Я имею шпагу...

– Шпагой Вашей мышей колоть, и к тому же Вы её никогда не вынимали.

– Всё равно-с; я составлял часть целого.

– Мало ли какие есть части целого.

– Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

– Я не понимаю, что такое шпага, – провозгласил инженер.

– Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! – прокричал отдалённый и неизвестный мне голос, но буквально захлёбывавшийся от восторга.

– Шпага, сударь, есть честь! – крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рёв, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

– Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнём ничего не стыдиться!

– Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! – раздался было голос простолюдина.

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и – ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что всё-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я ещё вас навещу» – и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

## «Смятенный вид»

Я кое-что прочёл из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но – какой я критик? Я действительно хотел было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочёл: «Запечатлённого ангела» г-на Лескова, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина. Прочёл я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно надо поговорить о них. А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатлённого ангела».

Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольников на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целую артелью перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освящённых ещё до времён патриарха Никона. Очень занимательно рассказано, как одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку, тысяч в пятнадцать. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по ста рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа. В них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отомстить и оскорбить, чиновник, раздражённый упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и в виду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казённую печать. Местный архиерей, увидав запечатлённый лик святыни, изрёк: «Смятенный вид» – и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Г-н Лесков уверяет, что слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольников.

Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот «Ангел» из собора. С раскольниками связался англичанин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны, то взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьёзно хорошо, лучшее во всём рассказе. Всё кончается тем, что за всеобщей икону наконец выкрали из собора, ангела распечатлели, подменили иконою новою, ещё не освящённою, которую взялась «запечатлеть», наподобие первой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо: от новой запечатлённой иконы видели свет (правда, видел один только человек), а икона, когда её принесли, оказалась незапечатлённою, то есть без сургуча на лике. Это так поразило принёсшего её раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всём ему покался, причём владыко простил и изрёк: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, говорит, плутовством со своего ангела печать свели, а наш сам с себя её снял и тебя сюда привёл».

Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.

Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен; вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборях».) Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознаётся, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик хотя и не освящённой иконы, а сделала печать на бумажке и



подвела её под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда? Конечно, от умиления и от ласки простившего их архиерея? Но взяв в соображение твёрдость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников одним умилением, – да и к чему, к кому? В благодарность за одно только прощение архиерея? Ведь понимали же они – даже лучше других, – что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и всех православных, ограничивается лишь тем, что говорит с воздыханием: «Смятенный вид!» – и не в силах остановить даже второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий.

И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это всё правда? Неужели это всё у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте. Вообразим только такой случай: положим, где-нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. Всё это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не в силах, и вот он берёт сургуч и капаёт его на лик святыни с приложением казённой печати. Неужели оттого только, что икона побыла некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле освящённою православною иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сём местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил: «Смятенный вид». Мои тревожные вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всём, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же как бы сей православный владыко защитил церковь, если бы обидчиком было ещё более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как не малою властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдёт в головы духовных чад его, то уж это всего хуже: православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пастырь? Ведь понимают же это раскольники?

Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова; так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ, в некоторых подробностях, почти неправдоподобным. Между тем в одном из недавних №№ «Голоса» прочёл я следующее известие:

«Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету „Современность“: „Занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство при-

няло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872–73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своём селе, решился изъяснить своё желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что «я тогда буду утверждён в должности наставника, когда на то изъяснит своё согласие общество». Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М. С. и во всём послушного ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова: „Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства“. „Почему бы так?“ – спрашиваю я. „Потому, – отвечает посредник, – что духовенство проводит суеверие“».

Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно в косвенном смысле, почти восстанавливает правдоподобность рассказа г-на Лескова, в которой мы так усомнились и упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою беспокоящею бесцеремонностью. Он высказывает своё премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь, в глаза и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить от лица правительства.

Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то посредник, а в десять раз высшее его по власти лицо какому-нибудь хоть, например, остзейскому пастору? Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путём гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас всё может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь «смятенный вид» и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще склонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда ещё не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа.

\* \* \*

Очень странное явление случилось недавно в одном углу России – немецкое протестантство в среде православия, новая секта штундистов. «Гражданин» о ней сообщал своевременно. Явление почти уродливое, но в нём как бы слышится нечто пророческое.

В Херсонской губернии какой-то пастор Бонекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя его непросвещённым и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили себе это первым и непременною условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фанатическою быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают:

– У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов...

Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откуда бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд.

Значит, против обряда и протестовал.

Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?

Причина, может быть, очень общая – та, что воссиял ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути; но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидел, как он «жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг». Главное, правды захотелось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвоишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Вот явление. Явление это, может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом, повторяю, может всё-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда всё будущее так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчества.

Ну что, если нечто подобное развернётся уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тем более что, говорят, уже приняты надлежащие меры), а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краёв своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха Божьего, а главное правды, правды, прежде всего».

Что возжаждет он правды – в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов.

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, в православии? Не в нём ли одном и правда, и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придёт время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!

Да, но покамест это всё сбудется, пастор-то вот встал пораньше, с первыми птицами, да и пришёл к народу, чтобы сказать ему правду – православную правду, он был очень совестлив. Но народ пошёл за ним, а не за православием, – не из благодарности только, а за то, что от него первую правду увидел. Ну и вышло, что «у него потому хорошо, что постов нет». Заключение очень понятное, коли замешалась личность.

Ну а кстати: что же наши священники? Что о них-то слышно?

А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются за сочинение проповедей и готовятся произнести их.

Поспеют ли только вовремя? Поспеют ли проснуться с первыми птицами? Пастор всё-таки птица иная, залётная, да и гарантирован иначе. Ну да и служба совсем другая, начальство

и проч. Так-то так, да ведь не чиновник же в самом деле, и наш священник! И не проповедник ли он единой великой Истины, имеющей обновить весь мир?

Пастор поспел раньше него, это всё правда; но что же и делать, однако, было священнику в случае, например, хоть штундистов? Мы вот все склонны обвинять наших священников, а вникнем, однако: неужели ограничиться лишь доносом начальству? О, конечно, нет, добрых пастырей у нас много, – может быть, более даже, чем мы можем надеяться или сами того заслуживаем. Но всё-таки, что же он стал бы тут проповедовать (приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому)? О преимуществе православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди тёмные: ничего не поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком пускаясь в подробности, ибо... ибо всё-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит... Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же что и «смятенный вид-с». Остаётся, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше...

Ну а пастору какое дело до величия России как великой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него совсем другая. А потому дело и осталось за ним.

## Полписьма «одного лица»

Ниже я помещаю письмо, или, лучше сказать, полписьма «одного лица», в редакцию «Гражданина»; всё письмо напечатать было никак невозможно. Это всё то же «лицо», вот тот самый, который уже отличился раз в «Гражданине» насчёт «могилок». Признаюсь, печатаю, единственно чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих. Он написал уже за меня и в пользу мою три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец, «наставление как вести себя». В этом последнем полемическом сочинении своём он под видом наставления «врагам» моим нападает уже на меня самого и нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у «врагов» моих. Он хочет, чтобы я это всё напечатал! я решительно заявил ему, что, во-первых, «врагов моих» никаких не имею и что всё это только так и призраки; во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года с такою неслыханною литературною яростью, беспардонностью и простодушием приёмов атаки, теперь, недели две, даже три тому назад, вдруг и неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи.

Он рассердился и, поссорясь со мною, вышел. Я даже был рад тому. Это человек болезненный... Он в напечатанной у нас ещё прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии: человек огорчённый и ежедневно себя «огорчающий». Но, главное, меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонорария, а пишет единственно из «гражданского долга». Даже признался мне с гордою, но вредящею себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при сём случае свои мысли, так как их ни в одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе, хоть задаром, постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всём, отзывается на всё с горечью, с яростью, с ядом и со «слезой умиления». «Девяносто процентов на яд и один процент на слезу умиления!» – объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнётся новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут: поучает и даёт наставления. Это совершенная правда, что в одну газету он отослал до сорока писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чём писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем, в два с половиною месяца, до двадцати осьми штук. Пишет он всегда за своею полною подписью, так что его везде уже знают, и мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но ещё в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьётся-таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из двадцати восьми его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так добивается? Это какой-то сумбур... Рядом с грубостью приёмов, с цинизмом красного носа и «огорчённого запаха» иступлённого слога и разорванных сапогов мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht по чему-то утраченному, и всё это выходит как-то до крайности в нём отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но Бог с ним и с его благородством! Не далее как три дня после нашей ссоры он явился опять, с «последнею уже попыткой», и принёс вот это «Письмо „одного лица“». Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.